

Вечером, вернувшись с работы, Семен отмахнулся от мужиков, которые играли за столиком в домино, поздоровался с соседками, сидевшими на лавке возле подъезда, медленно поднялся по лестнице, открыл дверь, повесил авоську с пустой банкой на гвоздь в прихожей и молча стал разуваться.

— Сема,— вытирая руки, из кухни вышла жена и полотенчиком шлепнула сына, который побежал и принялся тормошить отца.— Алешка, не мешай. Отстань от папки! Слыши, Сема,— опять сказала она, наблюдая, как муж медленно разулся, прошел в зал и уселся на стул, устало вытянув ноги, и принялся растирать лицо ладонями.— Устал, да? Сейчас покормлю. Чуточку потерпи. Что хотела сказать... Телеграмма пришла. Матвей возвращается...

— Матвейка? — Семен нахмурился, и взглянул на жену.— Кто сказал? Он же...— и неопределенно кивнул головой.

— Да, правда, твой брат приезжает,— пожала плечами жена и погрозила пальцем ребятишкам, которые носились по квартире.— Надя была в деревне. Сказала, что принесли телеграмму. На Троицу Матвей возвращается. Дед велел всем приехать на праздник, и чтобы все мужики были с наградами.

— Зачем? — опять нахмурился Семен.

— Хочет встречу устроить. Он еще передал, что свинью надо заколоть. Это тебя попросил сделать. Сказал, что у тебя рука легкая,— жена прикрикнула на ребятишек, которые устроили войнушку в квартире, и опять повернулась к мужу.— Надо съездить, Сема. Все-таки, ваш брат и сын приезжает. Столько лет не был дома. Наверное, срок отсидел и освободили.

— Наш брат или...— Семен замолчал, поднялся, доставая папироску, и вышел на балкон.— Где он был, когда мы воевали, а? — он тяжело взглянул на жену и зады-

мил: густо, нервно и озлобленно.— Не успеешь в деревне появиться, как встречные поперечные начинают носом тыкать, что Матвей...

— Сема, не заводись, успокойся,— перебивая, сказала жена.— Отец велел. Значит, надо ехать.

— Ну, если отец велел...— помедлив, повторил Семен и вздохнул.— Ну, хорошо. Съездим, и встретим. Ишь ты, брат...— он мотнул головой и, плюнув, выбросил окурок на улицу.

...Семен долго сидел на низком чурбаке, почесывая свинью. На зиму откармливали ее, чтобы на всех поделить, но теперь придется резать, так велел отец, а ему нельзя перечить. Семен вздохнул. В сторонке всполошено заорал петух, захлопал крыльями — пыль поднялась, подзывая несколько молоденьких кур, и принялся торопливо клевать. Видать, что-то нашел в старой соломе.

— Семка, ну, как там? — донесся тихий голос матери, и она заглянула в сарай, стоявший на заднем дворе.— Долго еще ждать?

— Не мешайте, пусть успокоится,— буркнул Семен, продолжая чесать свинью, и кивнул на толстую перекладину над головой.— Приготовьте веревки.

Он хмуро осмотрел сарай. Несколько кур копошились, разгребая старую солому. В углу заквохтала наседка. Потягиваясь, появилась пестрая кошка. Запрыгнула на перегородку, посидела, словно прислушивалась, и быстро исчезла в темном углу. Поплезла на сеновал. Видать, услышала мышиную возню. Семен осмотрелся. После войны, когда он вернулся, тяжеловато жилось, сарай пустовал, все съели за годы войны, долго восстанавливали хозяйство, а сейчас хоть какая-никакая, но скотинешка появилась: коза и овечка, да вот эта свинка, а еще куры бегают. На лето стали ребятишек отправлять в деревню. Соседка приносит молоко. И ребятишки все каникулы проводят здесь. Хорошо, вольготно, не то что в городе. Опять заскрипела дверь. В проеме появилась мать. Прислонившись к столбу, наблюдала за ним. Семен мельком заметил, как братья готовили пучки соломы и проверяли паяльную лампу. Потом приволокли корыто. Мать вышла, быстро сполоснула его и приставила к стене, чтобы стекла вода. Братья столпились возле входа, закурили и зашептались, стараясь не мешать.

Свинья похрюкивала, тыкалась грязным пятаком в колено и старалась прислониться. Семен, похлопал по холке, осторожно отодвинулся и продолжил чесать свинью. Пошарил за спиной, нашупал рукоятку, крепко зажал в руке, на мгновение застыл, глядя на свинью, потом перехватил ее за переднюю ногу, резко дернул вверх, всадил длинный трофейный штык-нож и провернул. Свинья рванулась в сторону, завизжала, дернулась и повалилась на землю. Семен поднялся, продолжая держать в руке окровавленный штык-нож. Схватил веревку, быстро захлестнул петлей задние ноги, позвал братьев, волоком дотащили свинью до перекладины и, перекинув толстую веревку, подняли над приготовленным корытом. Придерживая голову свинье, он размашисто расположил горло. Забулькала кровь и струей стала стекать в корыто. Семен протер клинок, поднялся на крылечко, в сенях подсунул штык-нож под бревно, вышел и принялся отмывать руки.

— Все, заколол,— коротко сказал он и вздохнул.— Хорошая была свинья. Даже жалко стало ее. Ладно, можете разделывать.

— Сема, выпей,— рядом стояла мать, протягивая на тарелке старую обшарпанную кружку с мутной жидкостью и повядший огурец.— У тебя легкая рука, не мучаешь животину. Мясо вкусным будет. На, выпей.

Взяв кружку, Семен хмуро взглянул из-под кустистых бровей. Медленно выпил. Поморщился. Отмахнулся от огурца. На ладонь вылил остатки самогонки и, крякнув, растер шею, потом подошел к корыту и, зачерпнув полную кружку крови, неторопливо выпил.

— Эх, хорошо,— сказал он, вытирая окровавленные губы.— Вкусно. Полезно для организма.

— Пап, папка,— подскочил Алешка, крепкий мальчишка, лет семи-восьми, одетый в коротковатые штаны и в клетчатую рубашку с латками на локтях, и махнул длинным прутом.— Правда, вкусно? Дай попробовать, а? — и потянулся к отцу.

— Да, Алешка, кровь — это полезная штука, особенно для тебя,— сказал отец и протянул кружку.— На, пробуй,— и протянул кружку сыну.— Я всегда пил, сколько себя помню. Вкусно!

— Фу-у, дрянь какая-то,— попробовав на язык, Алешка брезгливо поморщился и сплюнул.— Я-то думал, что вкусно. Баб, когда кушать будем? А, ну ладно. Позовешь. Папка, я побежал играть. Вон, мальчишки заждались,— и громко крикнув, помчался за калитку, где ждали друзья.

Семен вышел на улицу. Постоял, осматривая небольшую деревню. Отдельно стояла школа. Сейчас каникулы. Там тишина. И замок висит. Рядом с домом тетки Клавы, которая лечила травами и заговорами, на скамеечке сидело несколько человек. Наверное, болеют, а может, просто подошли поболтать. Тетка Клава всех привечала. Ночью постучись и она откроет дверь и пойдет в ночь, в непогодь, в любой мороз или дождь, если это нужно людям. Хорошая она, добрая.

Он оглянулся. Возле палисадника, где росла бузина, стояли и разговаривали соседки — старухи, кто неподалеку жил. Они пришли, чтобы посмотреть на гостей. Прознали, что должен приехать Матвей, и теперь отцу покоя не давали. Семен нахмурился, развернулся и подошел к крыльцу. Уселся, достал папиросы. Закурил. Выпустив облачко дыма, осмотрелся по сторонам. Братья на заднем дворе разделяли тушу. Переговаривались, о чем-то спорили, громко смеялись. Изредка выпивали, когда мать подносила кружку с самогоном, и снова брались за работу. Тревожно завыла собака, почувствав кровь, и умолкла, забилась в конуру, когда кто-то бросил в нее камень. А кошка крутилась рядом с корытом, надеясь что-нибудь утащить, а потом припала к лужице крови, которую нечаянно пролили на землю.

В сенях хлопнула дверь, и на крыльце вышел отец: высокий, мосластый, с виду еще крепкий старик, в старых штанах с заплатами на коленях, рубаха навыпуск и босоногий. Постоял, покручивая длинный ус, исподлобья посмотрел на сыновей. Потом взглянул на внуков, которые носились по двору, мешая взрослым. Цыкнул на них, погрозил узловатым пальцем — малышня бросилась врассыпную. Громко зевнул и, поглаживая лысину и узенький венчик волос, присел рядом с Семеном.

— Наташ, поди-ка сюда,— позвал жену, дождался, когда она подошла, и взглядом показал на старух, которые собирались возле палисадника, о чем-то разговаривали и изредка, словно невзначай, заглядывали во двор, смотрели, что делается у них.— Наташ, скажи, чтобы разошлись. Негоже под чужими окнами торчать, негоже. Угощу всех, когда придет время. Всех позову, а сейчас пусть не путаются под ногами, не отвлекают. Не до них,— а потом ткнул пальцем в дочерей.— Скажи нашим девкам, чтобы требухой занялись. Нечего бездельничать и лясы точить с соседями. Стоят, ворон ловят да кости перемывают, как бабки старые,— и не удержался, погрозил пальцем.— Надька, сейчас крапиву возьму и не посмотрю, что взрослая деваха — отлуплю! Клавка, живо взяла тазик и пошла работать. Эй, ребятки,— окликнул он взрослых сыновей.— Хватит хаханьки разводить — не бабы базарные. Чище опаливайте свинку, чище. Сами же будете кушать. Свиные уши опалите, разделите и отдайте ребятишкам — вкусно. И шевелитесь. Нечего гонять лодыря. Время не ждет, в рот пароход! — и, нахмурившись, привстал на крылечке, когда увидел, что во двор зашел невысокий мужичок.— Ну-ка, пошел отсюда, сволота! Еще раз увижу, взашей выгоню. Вон отсюда! Сколько можно говорить, что в мой дом дорога закрыта для

тебя! — дождавшись, когда мужик выскочил и скрылся за палисадником, он опять присел на крыльце.— Гад, все деревенские мужики воевали, а этот метрику подделал и прятался за спинами наших баб. А сейчас в грудь кулаком стучит, что, если бы не он, вся деревня бы передохла от голода. Тоже мне, спаситель нашелся. Сволота! — опять повторил он.

Таким он был всегда: грозным, но в основном, только с виду и на людях, вечно хмурым, редко улыбался. Сам за двоих работал и других заставлял. А когда вернулся с тяжелымувечем с войны, пришлось почти всю тяжелую работу перекладывать на сыновей и дочерей. Нужно было поднимать хозяйство. Ладно, семье удалось выжить, с голоду никто не умер, хоть и опухали, как бабка говорила. Тяжелые времена были, голодные. Все продали, лишь бы девчонок спасти от смерти. Если удалось пережить зиму, весной облегченно вздыхали. На траве держались да на рыбе, что ловили. Сети плели, верши готовили, и весной выходили на речку. Все становились рыбаками, от мала до велика. Если взрослые не могли, тогда дети уходили на реку, а вечерами улов делили по едокам. Так и жили всей деревней. Он не испытал этого, не видел. Вместе с сыновьями на фронт ушел. Считал, что отделались малой кровью. Шестеро ушли на войну. Один сын в танке сгорел. Второй, Матвей, в начале войны попал в плен, а когда союзники освободили из концлагеря, он отправился домой, но по дороге его арестовали и дали десятку без права переписки, нужно было страну поднимать из руин. Отсидел срок, но не стали освобождать, наоборот, еще добавили несколько лет и отправили на поселение. Лишь недавно Матвейку выпустили, и сегодня он должен приехать домой. А остальные вернулись, хоть и все были с ранениями и контузиями. Главное — живые, а остальное — это ерунда.

— Давай-ка выпьем, Семен,— старик подтолкнул сына и крикнул.— Слыши, Наташ, нам по рюмочке подашь? — так, в рифму, привычно сказал он и, достав из кармана папиросы, закурил.

Скрипнула дверь. Донеслись шаги. На крыльце появилась старуха в юбке до пят, в теплой кофте с длинным рукавом, несмотря на летнюю погоду, и в платке. Поставила две потертые кружки на ступеньку. Налила. Рядом поставила щербатую тарелку, положила несколько четвертинок лука, щепотку соли и кусочек ржаного хлеба и, поправив платок, молчком вернулась в избу.

— Видать, сегодня болеет,— кивнув на нее, сказал Семен.— Так и маётся головой, да?

Отец взял кружку. Заглянул, передернулся от сивушного запаха, и медленно выпил. Поморщился. Вытер длинные усы и, шумно вздохнув, отложил в сторону кусочек хлеба.

— Да, Семка, хворает мать,— взглянув исподлобья, сказал старик.— И война подкосила, и Федька погиб, и голод, а потом со мной замучилась, когда с фронта привезли, да еще столько лет прождала Матвейку. Бывало, ночью проснусь, поднимусь с полатей, чтобы водички глотнуть, гляжу, а она перед иконами стоит и шепчет. Вроде, как и не ложилась даже. Петух загорланит, а она уже на ногах и хлопочет по хозяйству. Наверно, с часок вздренула и все, а может, и того не было. Да, досталось нашим бабам, в рот пароход,— дунул, табак выплетел из папирочки, он достал другую, размял и прикурил, выпустив облачко дыма.— Эх, жизн!

— Правду говоришь, батя, и во время войны досталось, и после нее — проклятьей,— тяжело вздохнув, буркнул Семен.— Я всю войну прошел, а моя Нюрка поседела. Частенько бывает, ночами начинаю воевать, кое-как меня растолкает, а сама плачет. И ребятишки плачут. Залезут на одну кровать, в угол забьются и плачут. Боятся меня. Эх, ешкін малахай! — он кулаком ударили по колену, поморщился и достал папирочки.— Бывает, что себя боюсь, как бы чего не натворить спросонья. Все

война снится,— а потом взглянул на пачку и протянул.— На, кури, батя. Ну и что, что покурил, еще бери. Про запас дымы. И я с тобой затянусь. Эх, да...

Они опять задымили. Молчали. Семен задумался, злые морщинки возле глаз появивались. Сидел, не шелохнувшись, не обращая внимания, что папироска давно уж перестала чадить. Не видел, что отец поднялся и, как был босиком, так и пошел на задний двор к сыновьям. Покручивая между пальцами длинный ус, что-то долго объяснял им, показывая на разделанную тушу, потом кликнул дочерей, опять ткнул пальцем в мясо, вернулся на крыльце и снова присел рядом с сыном.

— Ну ничего не могут без меня сделать, обормоты! — запыхтел он и погрозил пальцем.— Ух, не посмотрю, что вымахали, сниму кнут со стены, всех отстегаю. Разгильдяи, в рот пароход и в задницу корабль! — это было его любимое ругательство.

— Батя, неужели и меня отпушишь? — хохотнув, сказал Михаил, и поправил тяжелый китель с множеством орденов и медалей.— Я же по званию намного старше тебя.

— А тебя в первую очередь, Мишка! — насупившись, рявкнул старик и, повернувшись, стал всматриваться в полутемные сени в поисках кнута.— Не посмотрю, что в офицерах ходишь. Нацепил погоны и награды и думаешь, что на тебя управы не найдется? Отступлю как сидорову козу. Понял? Я — главнокомандующий в семье! И не забывайте об этом! Бабка, иди-ка сюда. Ну-ка, выпиши наряд вне очереди этому охламону,— и ткнул в сторону сына.— Отправь чистить навоз. Как раз для его офицерского кителя с сапогами. Будет знать, как отцу перечить. Ишь, стоит, баухалится!

И Михаил, под хохот братьев и сестер, нахмурив густые бровищи, повесил китель на забор, молчком подхватил вилы и скрылся в сарае.

— Ох, суров ты, батя, суров,— покачивая головой, буркнул Семен, взглядом провожая брата.— Глянь, ведь послушался!

— А куда денется, охламон,— нахмутившись, старик опять погрозил пальцем.— Пусть попробует не выполнить. Враз вожжи или кнут возьму, да пройдусь по одному mestу, неделю сесть не сможет! — и неожиданно повернулся.— Семка, скажи правду, что думаешь про своего брата, про Матвейку?

— А что говорить о нем? — помолчав, пожал плечами Семен.— Столько лет не виделись. Вот приедет, потолкуем. Посмотрим, что у него на душе.

— Я что хочу сказать, Семка,— старик посмотрел по сторонам, не подслушивают ли случайно, а потом опять повернулся к сыну.— Столько лет думаю о нем, и не могу поверить, что наш Матвейка сдался в плен. У него же характер — о-го-го, в рот пароход! Он костьми ляжет, чем спину прогнет. Он же комсомольским вожаком был, идейный — страсть! Все носился по деревне с такими же, чуть не так, сразу мозги вправлял, сразу на собрание вытаскивал и песочил. Ну, а если взглянуть с другой стороны, как он смог попасть в плен, почему всю войну провел там, а не сбежал? Ведь столько лет был в плену! Неужели не нашел лазейку для побега? Не верю этому, в рот пароход, не поверю! Меня же таскали в органы из-за него, все расспрашивали, все допытывались. А что я мог рассказать? Меня же не было рядом, когда Матвейка в плен попал. Даже не знал об этом, пока в органах не сказали. Как обухом промеж глаз саданули. Думал, с копытом слечу. Все допытывались, почему он оказался у фрицев, где пробыл всю войну, почему союзнички освободили в конце войны из концлагеря, как он попал туда. А я-то почем знаю! Потом какая-то бумага пришла. Видать, про Матвейку. Они поворчали, но отстали от меня, зато в деревне быстро признали про это, и каждый сморчок проходу не давал, все Матвейкой попрекали, мол, фашистский прихвостень, коль в плену побывал да на них работал. Идешь по улице, а у тебя словно печать на лбу стоит — на всю жизнь заклеймили и буквочки видны — «Отец прихвостня», а всякие встречные-поперечные ходят и тычат пальцами, и камнями кидают, и все норовят в рожу попасть, да побольнее,— и засопел, нахмутившись.

Семен снова пожал плечами.

— Не знаю, что у него на уме,— сказал он, вытащил папироску, дунул в нее — табак вылетел.— Многих война ломала. Крепче, чем Матвей, были, но словно тростинки ломались. А он... Жизни не видал, хоть и был идейным, сразу на фронт попал. Сам же знаешь, батя, что в первые месяцы войны творилось. Неразбериха. Погибали, раненые попадали в плен, а другие, кто ломался, первыми погибали, а бывало, что в дезертиры подавались или к фашистам уходили, лишь бы свою шкуру спасти. Всяко бывало. И пока с Матвеем не поговорим, не увидим, с чем приехал, что в душе у него, мы не можем его судить, да и не имеем права,— так, не поднимая головы, раскачиваясь, глухо сказал Семен и опять вытащил папиросы.— Я сынка, Алешку, отправил на остановку. Когда появится Матвей, ребятишки прибегут и предупредят. Посмотрим, что у него на душе, а потом подумаем...

— Да я все понимаю,— досадливо стукнул кулаком по колену старик, а потом похлопал по груди,— но вот здесь болит, покоя не дает. Столько лет прождал его, чтобы вернулся, а сейчас как на иголках сижу. С тобой болтаю, а у самого глаза в сторону калитки смотрят. Мы же до сей поры не знаем, как он оказался у фашистов. Ладно, если раненый попал в беспамятстве — это еще можно понять, а ежели, как ты говоришь, что сломался и добровольно ушел, тогда, как к нему относиться? Вроде бы простить должен его, все же наш сын и ваш брат, а с другой стороны — он предал нас, нашу семью, тебя, меня, свою мамку — всех. Тогда как, а? — старик замолчал, раскачиваясь, задумался, а потом сказал.— Вот возьми меня, в рот пароход. Я прошел три войны. Три! И в окружении бывал, и в плен попадал, но все же вырывался и опять пробирался к своим. А сколько раз было, что могли поймать, но я находил лазейку и смывался. Вон там,— он махнул рукой в сторону лесопосадки,— во время гражданской, у нас стоял омет. Я был в дивизии Чапаев. В нашей деревне стояли белые. А у меня же семья большая! Мне приходилось пробираться сюда, чтобы своих проводить, чтобы кусок хлеба принести, лишь бы с голоду не померли. И один раз, когда появилсяся, меня кто-то предал. Беляки бросились искать. Чую, что не успею скрыться, тогда огородами пробрался и спрятался в омете. Они всю деревню перевернули, меня, чапаевца искали, а потом взяли вилы и стали всаживать в омет со всех сторон. И знаешь, Семка, меня спасло, что втыкали вилы — поперечина не дала глубже вогнать, а если бы стали штыками колоть, тогда мне кранты, убили бы — это точно. А потом, едва они кинулись к мельнице, я задами огородов выскочил из деревни. До леса добрался, а там стояла привязанная лошадь. Вскочил и помчался к своим, а беляки поскакали за мной. Дважды меня ранили, но я все же вырвался. Чуял, что смерть придет, если поймают, в рот пароход. А Матвейка столько лет был у фрицев и живой, а я бы на его месте все жили перегрыз, лишь бы в плен не попасть, а он живой... Почему? — и старик опять замолчал, нахмурив и без того морщинистый лоб.

Отряхивая замызганные галифе, посматривая на испачканные сапоги, к крыльцу подошел Михаил и облокотился на перила.

— Батя, приказ выполнен,— устало хохотнув, сказал он и принялся вытираять грязные руки.— Весь навоз уничтожен... Нет, на корыте вывезен на огород и уложен в кучки. Какие будут дальнейшие указания?

— Что говоришь? — старик взглянул, потом растер лицо ладонями и вздохнул.— А, ладно, сынок. Молодец! Одежка грязная. Почистись и умойся. Негоже в таком виде щеголять перед всеми — офицер все же, а не дите малое,— и, нахмутившись, погрозил.— Да, а где зятья — Колька и Витька? Кольша с нашим Петькой покрутились, пока свинью разделывали, а потом оба умотали. Почему до сей поры не появились? А куда Витька запропал? Ну-ка, живо к ним сбегал и сказал, чтобы пришли при параде. Во всей красе представляем пред нашим сыном и вашим братом.

Достав расческу, Михаил быстро привел волосы в порядок. Провел по ним ладонью, приглаживая, подозвал ребятишек и велел им, чтобы позвали дядек, а сам принялся чиститься и отмываться под рукомойником.

Распахнулась калитка, и донесся громкий крик.

— Папка, папка, фу, еле добежал,— запыхавшись от быстрого бега, заскочил Алешка и помчался к крыльцу, за ним забежали ребята и тоже подошли, едва переведя дух, а потом выстроились в очередь перед ведром с водой и, толкаясь, принялись звучно пить из большой кружки.— Там, там дядька и тетка идут от остановки. Не деревенские — чужие! А больше никто из автобуса не выходил. Правда! Они сюда пошли по дороге, а мы с мальчишками направляемся пустыни. Сходи, посмотри.

Едва Алешка крикнул, что видел незнакомых людей, все переполошились. Заметались, не зная, за что хвататься, чем заняться. Мать заголосила, бросилась к калитке, но осеклась от грозного окрика старика и, прикрывая ладошкой рот, скрылась за избой. Старухи, стоявшие возле калитки, вразнобой заговорили и, прикладывая к глазам ладонь лодочкой, стали всматриваться вдаль, надеясь рассмотреть приезжих.

— Семка, выйди-ка, посмотри,— отец кивнул в сторону улицы, закряхтел, нахмурился, но сын заметил, как он заволновался, как заелозил по ступеньке, а потом поднялся.— А я схожу, проверю, что ребята сделали. Все ли подготовили, да и самим нужно пиджаки набросить,— и, покрикивая на сыновей и дочерей, пошел на задний двор, но быстро вернулся и скрылся в избе.

Семен вышел на улицу. Долго стоял возле палисадника, хмуро наблюдая, как по тропинке между кустами, то исчезая, то появляясь, медленно шел крепкий мужик с невысокой женщиной. Изредка приостанавливались, он осматривался, махал рукой, что-то показывая, а потом опять шагали. Вон присели на старый пень. Там все останавливаются, чтобы отдохнуть на широком пне. Видно было, что мужик курил. Много курил — одну за другой. Видать, волновался. Потом опять побрали, а его спутница все время поправляла на руке плащ или пальто — не разберешь издалека.

— Батя, готовься к встрече,— вернувшись, сказал Семен, взглянув исподлобья на отца.— Это Матвей идет. Нет, я не ошибаюсь. До сих пор помню его походку. Идет, словно подпрыгивает. Он приехал. Точно. А рядом с ним, наверное, жена.

Старик заволновался, но старался не подавать вида. Засуетился, оглаживая чистую рубаху. Потом зашел в избу и вернулся в пиджаке, на котором посверкивали несколько наград.

— Ну-ка, сынки, быстро ко мне! — держась за шаткие перильца, сказал он, и провел ладонью по медалям, и принялся командовать.— Колька, я кому сказал, живо набросил китель. Петька, почему не надраил медали? Ух, дождется, разгильдяи! Так, чтобы у всех грудь колесом была. Пусть наш сынок, а ваш брательник посмотрит, как мы воевали. Девки, всем быть на заднем дворе. Нечего пялить глаза на них. Ребятишек заберите с собой. Негоже по двору носиться в такой час. Мать,— он повернулся к бабе Наташе,— не вздумай обниматься, пока я не увижу, кто перед нами — сын или фашистский прихвостень, а то ему быстро сделаю от ворот поворот, а если кто-то к ним сунется самовольно, чтобы поздороваться, кнутом до полусмерти отстегаю. Чтобы все стояли, не шелохнувшись. Я буду вести разговоры. Всем понятно? — и хмуро посмотрел на сыновей.

— Ладно, батя, не шуми зазря, все поняли,— вразнобой сказали они.— Сам командуй.

Вскоре соседки-старухи зашептались, подталкивая друг друга, раздались в стороны, освобождая проход.

— А вот и гости долгожданные появились,— раздался протяжный старческий голос за забором.— Здравствуйте, Матвей Ильич! Ой, как вы изменились! Постарели,

однако. А были-то каким молодым! А сейчас... А это кто рядышком — жена, да? Это хорошо! Проходите, проходите...

— Тыфу ты, появилась, сорока языкастая, принесла ее нелегкая,— чертыхнулся стариик и крикнул соседке.— Лизка, дождешься, отстегаю, зараза! Ну, погодь у меня...

Скрипнула калитка, распахнулась. Во двор медленно зашел Матвей: поседевший, лицо, иссеченное глубокими морщинами, взгляд хмурый и недоверчивый, в темном костюме, запыленных ботинках, а в руке хозяйственная сумка. Рядом с ним была невысокая худенькая женщина: гребешок в темных волосах с проседью, простенькие серьги, серое платье с белым воротничком и потертое пальто в руках, несмотря, что стояла теплая погода. Матвей исподлобья — взгляд как у отца, медленно осмотрел всех, шагнул вперед, сдернул фуражку и низко поклонился.

— Ну, здравствуй, батя,— он посмотрел на постаревшего хмурого отца, потом на мать, которая стала еще меньше росточком, словно высохла, она стояла возле забора и смотрела на него, прищурившись, задержал взгляд на Семене, поперхнулся, сильнее сминая в руках фуражку, отвернулся и глухо сказал.— Здравствуй, мамка. Я вернулся. Я живой...

— Матвеюшка, сынок,— мать не выдержала, заголосила и бросилась к нему, но не добежала, вздрогнула от окрика, запнулась, чуть не упала и остановилась, продолжая смотреть на постаревшего сына, которого не видела с начала войны.— Матвейка приехал, а ты... Ну, как же так, отец? — и растерянно оглянулась на старика.

У Матвея задергалась щека. Он стоял неподвижно и молчал, медленно осматривая пустой двор и родную избу. Взглянул на баньку, что стояла посреди огорода, потом на заросли черемухи, что были за заборами. Нет, даже не заросли, а густой лес и каждую весну, когда черемуха расцветала, над землей появлялось огромное белое облако, а запах такой, что голова кружилась. И этот запах он чувствовал даже во сне. Матвей глубоко вздохнул и опять посмотрел на всех. Отец и братья тоже молчали. Семен скрипнул зубами, дернулся было, словно хотел выйти навстречу, но остался стоять, лишь ниже склонил голову. Изредка доносились всхлипы матери, на заднем дворе слышны женские и детские голоса и за забором шептались старухи.

Прошмыгнула пестрая кошка. Запрыгнула на завалинку и принялась умываться. Гавкнула собака, почувяв чужака, но умолкла и спряталась в конуре от резкого окрика.

Долго стоял отец, посматривая на сына. Молчал, покручивая длинный ус. Потом вздохнул, потер щетинистую щеку и нахмурился. Насупившись — брови сошлись на переносице, взглянул исподлобья на Матвея и его спутницу и поправил пиджак, брякнув медалями и орденом.

— Ну, сынок, пройди в избу, расскажи нам,— прищурившись, он обвел рукой сыновей и зятьев, стоявших на крыльце в кителях и пиджаках, на которых сверкали награды и орденские планки,— где и с кем воевал, и как воевал, что-то не замечаю твоего иконостаса,— он провел рукой по наградам и опять нахмурился.— Хорошо ли воевал, не опозорил ли нас, родителей и своих братьев и сестер? Не стой, как столб, пройди в избу. Негоже во дворе разговоры вести. Посидим, послушаем, что расскажешь. А твоя баба пусть на крыльце остается. Ничего с ней не случится. А у нас будет долгий разговор,— и тут же повернулся к жене.— Так, бабка, не дай Бог, если кто-нибудь зайдет в избу! Увижу, в кровь исхлещу, в рот пароход! — и погрозил пальцем, повторяя.— Кнутом отстегаю любого, кто сунется в избу! Всем понятно? — и медленно обвел взглядом всех, кто был во дворе и за забором.

И, не обращая внимания на сына, Матвея, развернулся и первым прошел в избу. За ним потянулись сыновья и зятья. Матвей последним поднялся по ступеням, провел ладонью по старым перилам, остановился, окинув взглядом избу, опять посмотрел на дальний черемушник, потом прошел вслед за всеми и захлопнул за собой скрипучую дверь.

Приостановившись в полутемных сенях, Матвей вздохнул, осматриваясь. Возле двери стояла старая кровать. Раньше ее не было, как не было выцветшего дождевика на стене. Видать, отец с фронта привез. Старая потертая каравайка на гвозде, подбитая мехом, а рядом драная фуфайка. Кочедык и крепкий кнут висели на своих местах, и серп там же был воткнут. Как и раньше, как в его молодости. У отца было принято, чтобы каждая вещь лежала на своем месте, и не дай Бог, если возьмут и не положат. У него тяжелая рука и быстрая на расправу.

Разувшись, он поставил запыленные ботинки в модельный ряд возле пары стоптанных кирзачей, рядом с ними разбитые опорки, а чуть поодаль виднелись обрезанные подшипные валенки. Наверное, мать шаркает в них, а раньше не носила. Дальше, в полутьме, мелькнула дверь в чулан. Частенько в нем прятался, когда с мальчишками играл — это было давно, словно в прошлой жизни, словно не с ним. Матвей вздохнул. Наклонившись, он прошел в избу и остановился на пороге. Свежий запах выскобленных полов и кисловатый запах опары — это мать всегда скоблила косарем широкие доски, а потом начисто промывала, и поэтому в избе стоял свежий хвойный запах, как и кисловатый — опары. Мать выпекала хлеб на капустных листах, а иногда на кленовых, но чаще подкладывала капустный лист — ей так больше нравилось. И эти запахи преследовали все годы, с той поры, как ушел на фронт. Ушел пареньком, а вернулся взрослым мужиком... Матвей медленно обвел взглядом избу. Низкая стала, небольшая, как ему показалось, не то, что раньше была — светлая и просторная. А сейчас хотелось пригнуться, чтобы не задеть потолок. Большая русская печь. За ней были полати, на которых спал отец — это он хорошо помнил. А вон в том закутке видны чугунки, ухваты и стол — это хозяйство матери, куда она никого не подпускала. Ее мирок. Рядом с занавеской висит тусклое зеркало в коричневой деревянной раме. Сколько себя помнил, зеркало всегда висело на этом месте. В углу виднелась икона и еле заметно теплилась лампадка. Старая кровать с лоскутным одеялом вдоль стены. Мать спала на ней, да и сейчас тоже, наверное. А возле окна, напротив кровати — длинный широкий стол — семья-то большая была, и несколько лавок. Вот и все. Как было раньше, так и осталось, хоть прошло столько времени, много лет не был в родной избе... Матвей протяжно вздохнул. Растреп лицо ладонями — глаза покраснели. Исподлобья взглянул на сурового отца, который сидел во главе стола — это его место, хозяина, по бокам расселились братья и зятья. Сидели, курили и молчали, наблюдая за ним. И Матвей шагнул к столу...

— Ох, чует мое сердечко, что-то будет нынче,— едва закрылась дверь, запричиала мать.— Вся душа изболелась! Рассерчал отец, разгневался, как самовар кипит, того и гляди заплещет. И зайти-то запрещено — шкуру спустит. Ему нельзя перечить — хозяин,— она поправила платок, принялась осматриваться и ткнула корявым пальцем.— Слыши, как звать-то тебя, дочка?

— Татьяна,— коротко сказала спутница, и устало прислонилась к перилам.

— Танька, значит,— закивала головой баба Наташа.— А я Матвейкина мамка,— и невольно оглянулась на дверь, опасаясь, что услышит старик и отступит.— Приложитесь на крылечко. Не гневайтесь на отца. Характер такой. Хозяин! Пить хотите? — и помахала рукой.— Дочки, напоите ее. Я бы накормила с дороги, но не могу — отец запретил заходить в избу. Потерпи, пока не поговорят. Валя,— старуха позвала сноху.— Побудь на крылечке. Гляди, чтобы никто не зашел, а я сбегаю на огород, чуточку повожусь на грядках, пока они разговоры разговаривают, может полегче на душе станет, а то места не могу найти.

— Баб Наташ,— кто-то окликнул из-за забора.— Ну, что там, как сынок?

— Отстаньте, не до вас,— отмахнувшись от назойливых соседок, баба Наташа ушла на огород, что был позади дома, принялась было дергать сорняки, но не удер-

жалась, подошла к грядке, надергала лук и вернулась к крыльцу, держа в руках небольшой пучок.— Скажи правду, Тань, как на духу, а когда нашего Матвейку выпустили из каталажки? — спросила у приезжей.

Татьяна отставила помятую кружку с водой на крыльце и пожала плечами.

— Ему давали десятку, но в конце срока еще добавили несколько лет,— тихо, блекло, сказала Татьяна, видно было, что ей уже надоели с такими расспросами.— Когда освободили и разрешили выезжать, мы собирались и сюда поехали. Матвей скучал, хотел всех увидеть, но в то же время опасался, что на порог не пустите, выгоните.

Продолжая теребить в руках пучок лука, баба Наташа внимательно слушала, покачивала головой, а потом, словно решившись, оглянулась на дверь и прошептала:

— Скажи как на духу, а Матвейка — предатель или нет?

Отшатнувшись, Татьяна в лице изменилась — пятнами пошла, потом резко побледнела и хотела что-то сказать, но в это время из избы донесся громкий протяжный крик, а потом с треском разлетелась табуретка.

— Все, беда пришла,— запричитала баба Наташа, прислушиваясь к шуму, положила пучок лука на завалинку, едва стала подниматься по ступеням, чтобы зайти в избу, но вспомнила, что дед запретил заходить, и тогда торопливо принялась осматриваться.— Сейчас смертоубийство начнется,— забормотала она, а потом протяжно закричала.— Ребятишки, подойдите сюда! — и замахала руками.— Побыстрее...

Оглянувшись на крик, Алешка поддернул сползающие штаны, что-то сказал друзьям, с кем играл возле ворот на полянке и, открыв калитку, они подбежали.

— Что, баб? — вразнобой заговорили они.— Зачем звала? Мы же играем, а ты мешаешь.

— Проберитесь в избу, ребятки,— наклонившись к ним, тихо сказала баба Наташа.— Потихонечку погляньте, что там творится,— и ткнула пальцем.— Слышите, как ругаются. Дед Илья запретил взрослым заходить в избу, а вас, мальцов, не тронет, если заметит. Он любит вас. Прокрадитесь и послушайте. А я каждому карамельку дам. Вкусные! — и принялась шарить в кармане фартука.

— Не, баб, не пойдем,— загомонили ребятишки и вздрогнули, когда донесся шум и громкие голоса.— Страшно! Вон, пусть Алешка сбегает. Дедка никогда не ругает его. А мы постоим возле двери и покараулим. Лешка, что говоришь? Ай, не бойся! Мы же рядышком будем. Иди, посмотри,— и принялись подталкивать его.— Ты же самый храбрый!

— Ну ладно, сейчас схожу,— шмыгнул Алешка, и посмотрел на окна, плотно закрытые занавесками.— Ух, как дедка кричит! Баб, а на кого ругается, а?

— Вот и глянешь, на кого кричит,— сказала баба Наташа.— Иди, иди...

Прислушиваясь к шуму, Алешка быстро поднялся по ступеням крыльца, и исчез в полутемных сенях. Ребятишки поднялись на крыльце и притихли, наблюдая за ним.

Приподнявшись на цыпочки, баба Наташа старалась заглянуть в запыленное оконце, но за плотно зашторенными занавесками, ничего не было видно. Переbralась к другому окну. Опять заглянула, но бесполезно. И в третьем окошке ничего не видно. Все нагло закрыто от постороннего взгляда. Взмахивая руками, она заметалась по двору, то торопилась к дочерям на задний двор, то опять возвращалась к крыльцу. Старухи, сидевшие на лавочке возле палисадника, тоже громко заговорили, поднялись и норовили заглянуть во двор.

Постояв возле двери, Алешка долго прислушивался к разговору, потом с трудом приоткрыл дверь, присел на корточки и медленно заглянул, продолжая слушать, о чем говорят за столом. Заметил, что дед поднялся, потом стал стучать кулаком по столу, что-то говорил, поперхнулся и закашлялся, закрутил головой и направился к ведру с водой, которое стояло возле входа. Видать, в горле пересохло.

Алешка испугался, что его могут заметить, тихонечко притворил дверь, и опрометью бросился из сеней.

Ребятишки скатились по ступеням и сгрудились возле бабы Наташи.

— Ох, дедка ругается,— появившись на крыльце, сказал Алешка и поддернул штаны.— Сильно. Красный стоит, руками размахивает и по столу стучит. Баб, а там все ругаются, правда. Что говоришь? А, дядька Матвей? Он тоже орет. Нет, не орет, а громко говорит, говорит, а сам торопится, а потом снова все начинают спорить и руками махать. Все ругаются, а мой папка сидит, голову обхватил руками и молчит. Почему, баб?

— Ой, горюшко-то какое! — заплакала баба Наташа, и принялась вытирать слезы кончиком платка, а за ней заголосили дочери и снохи, кто был во дворе.— Смертобуйство произойдет. Дед разошелся не на шутку. Теперь его ничем не остановишь. Ой, беда пришла! — и, вскарабкавшись на завалинку, опять прижалась к стеклу, стала искать хоть небольшую щелку, чтобы заглянуть внутрь.

Следом за ней дочери и снохи облепили окна, стараясь рассмотреть, что творится в избе. Некоторые прижались к двери, надеясь услышать, о чем разговаривают мужики. Опять раздался крик, потом загалдели в избе, послышались громкие удары. Все отбежали от окон и дверей, опасаясь попасть под горячую руку старика. Девки скрылись на заднем дворе. Некоторые мелькнули на огороде и сразу принялись драть сорняки, словно и во дворе не были. Лишь Татьяна, спутница Матвея, продолжала сидеть на крыльце и о чем-то думать. Держала кружку в руках, изредка поднимала голову, осматривая двор, а потом опять задумывалась.

— Помогите, люди! — обхватив голову, заголосила баба Наташа, медленно спускаясь с крыльца.— Ой, соседи дорогие, они же поубивают друг друга! Да что же вы попрятались, а?

— Нет, баб Наташ, я не пойду,— замахала руками молодуха в ярком платочек и фуфайке, наброшенной на плечи и, оглядываясь, пошла к соседнему двору.— Дед злой, как собака. Не посмотрит, что баба перед ним, быстро по шеям накостыляет, что полезла не в свои дела. Ну его... Я лучше дома посижу,— и скрылась, захлопнув калитку.

— А я чем помогу? — зашамкала скрюченная старуха, опираясь на клюку.— Ты уж, Наташка, сама разберись. Это ваша семья. Илюшка сразу нос прищемит, ежели сунемся,— сказала, присела на лавку и, что-то бормоча, закачала головой.

Остальные соседи, что прибежали, услышав громкие крики, столпились возле забора, но опасались зайти в избу, зная крутой характер деда Ильи. Все хорошо помнили, как он одним ударом чуть было не убил здоровенного племенного быка, когда тот разорвал толстенную цепь и помчался по улице, заметив ребятишек, которые играли на дороге. А старик возвращался с мельницы и увидел. Бросился ему навстречу, ухватился за рог, рванул, разворачивая к себе, и всего лишь один раз удариł, и племенной бык остановился, помотал головой и повалился набок. Все уж подумали, что убил быка. С трудом, но все же удалось отлить его водой, беднягу. И сейчас, если сунутся, а вдруг под горячую руку попадешь? Дед Илья не станет разбираться, тем более что предупредил всех, чтобы в избу не входили. Врежет разочек, и костей не соберешь. Он хозяин в семье. А в чужую семью нельзя соваться, так было принято в деревне.

— Эх, помощнички,— баба Наташа махнула рукой.— Только и умеете, что кости перемывать другим да за столом сидеть и самогонку глушить.

— Зря так говоришь, баб Наташ,— донеслось из-за забора.— Мы всегда придем на помощь, ежели потребуется, но в семью не полезем. Нельзя! Сама знаешь, что будет, если сунемся. Ваша семья — сами разбирайтесь. Извиняй...

Соседи стояли, переминались и шептались, поглядывая на избу, откуда доносились шум. А потом крики прекратились, и наступила непонятная тишина. Резко замолчали. Словно взяли и выключили. Бабка прислушалась. Тихо в избе. Очень тихо. Это больше напугало, чем крики и ругань. Все стояли на улице и не могли понять, что там произошло. Лишь ребятишки ни на что не обращали внимания. Голосили, носились по двору, по улице, лезли на чердак и сеновал, а оттуда спрыгивали и опять принимались играть.

Оглянувшись, баба Наташа едва успела ухватить внука, который пробегал через двор, на ходу стреляя из деревянного автомата, который сам смастерили из сухих веток. Прижал к себе, она принялась что-то ему шептать. Алешка недовольно заворчал, зашмыгал носом, посмотрел вслед мальчишкам, которые мчались к баньке, что находилась посреди огорода, там был их штаб, потом вздохнул и кивнул, соглашаясь.

Он вскарабкался на завалинку. Прижался к стеклу. Посмотрел. Ничего не видно. Поглядывая с опаской на окна, Алешка медленно поднялся по ступенькам в сени, тихо, чуть дыша, на цыпочках добрался до двери, приоткрыл ее и сполз на пол, а потом улегся и, едва приподняв голову, долго смотрел, что происходило за столом. Потом поднялся, притворил дверь, на цыпочках вышел и кубарем скатился с крыльца.

— Ну, что там, Алешенька? — увидев его, встревоженно сказала баба Наташа.— Что случилось? Что дедка натворил? Говори...

— Баб, да они водку пьют! — запыхавшись, сказал Алешка, подхватывая деревянное оружие, и помчался к огородам.— Много пьют. Кружками! А папка выпил, посмотрел на дядю Матвея и пальцем погрозил. Ладно, баб, отстань, я же играю, не мешай нам,— упал на землю и скрылся между грядками.

Раньше бы за такое отхлестали крапивой, что они балуются на огороде, а сейчас никто внимания не обращал, чем занимаются ребятишки.

— Ну все, сейчас зальют за воротник и раздерутся, как пить дать,— опять вспомнилась баба Наташа, оглядываясь на дочерей.— Стоит только мужикам губы помазать — и все, дурная кровь в бошки ударяет, и начинают кулачищами размахивать направо и налево. Ой, соседи дорогие, уходите от греха подальше! — и замахала руками, провожая старух, которые стояли возле калитки.— Вы знаете наших мужиков, ненароком зацепят, мало не покажется. Идите, идите...— и увидела внука, который опять появился во дворе.— Алешенька, а ты видел, что там дядя Матвей делает?

— Ай, тоже водку пьет,— поморщившись, отмахнулся Алешка и поддернул сползающие штаны.— А мой папка как дернул рубашку, так пуговки во все стороны разлетелись. Теперь мамке придется пришивать, если найдет пуговочки. А зачем он кулак показывал дядя Матвею, а, баб? А дядь Петя под нос сунул кулак и что-то говорил. А зачем, баб?

Покачивая головой, баба Наташа стояла возле крылечка, о чем-то думая, потом размашисто перекрестилась, медленно поднялась по скрипучим ступеням и принялась стучать в дверь.

— Ребятки, сыники, не трогайте Матвеюшку,— громко закричала она.— Это же ваш брат. Не берите грех на душу, не надо! Ребятки...— и опять заколотила.— Отец, слышишь меня? Прокляну!

Но дверь не открывали. Видать, серьезный разговор. Очень тяжелый. Было слышно, как в избе громко разговаривали, почти переходили на крик, потом затихали, а через некоторое время опять начинали ругаться и стучать кулаками по столу, что-то доказывали, о чем-то спорили до хрипоты и опять громыхали по столу — того и гляди развалится.

Баба Наташа вернулась во двор. Уселась на завалинку и тихо заплакала, прижимая платок к глазам. Дочери и снохи сгрудились возле забора и молча наблюдали за

ней и за избой, внимательно прислушиваясь, что там творится. Вдруг наступила тишина. Баба Наташа вытерла слезы и прильнула к запыленному стеклу, стараясь рассмотреть, что происходит. Опять поднялась по ступеням. Прошла в сени. Прислонилась к двери, ничего не услышала. Покачивая головой, она вышла на улицу. Приложив к глазам ладонь, долго смотрела в сторону ребяташек, которые играли неподалеку от дома и, заметив внука, опять замахала рукой.

— Алешка, подь сюда,— протяжно крикнула она, дождалась, когда внук прибежит, и снова подтолкнула к двери.— Ты же знаешь, как заглядывать в избу, чтобы не заметили. Поэтому кликнула тебя, а не других ребяташек. Ты уж посмотри, что мужики делают. Нам же запретили заходить. Кнутом исхлещет. А дед не тронет тебя. Не боись. Он любит тебя,— она повторила.— Я знаю. Зайди, внучок, поглянь. Душа не на месте.

— Баб, я кушать хочу,— недовольно забубнил Алешка.— Дай пирожок! Мне надоело глядеть. Что я бегаю и бегаю... Вон пусть другие мальчишки смотрят, или сама иди, да гляди, а я кушать хочу, аж в животе урчит,— и отвернулся, обидевшись.— Все мальчишки играют, ты не трогаешь их, а меня заставляешь. Иди с ними и смотри,— он продолжал недовольно бубнить.

— Подожди, внучек, подожди, попозже накормлю,— прижимая к себе, сказала баба Наташа.— Сам же видишь, что творится. Дедка никого в избу не пускает. А если ты зайдешь, он не заругается. Любит тебя,— и опять повторила.— Сходи, внучек. А я кашку успела приготовить. В печке готовила, натомила с пенкой. Вкусную, как ты любишь, пшенку с молочком и тыковкой. Сладкая — страсть! Ну погляди, а?

Недовольно заворчав, Алешка, неумело посвистывая, за что получил подзатыльник от бабы Наташи, медленно поднялся по ступеням. Добрался до двери. Прислонившись, долго стоял, прислушиваясь, потом опять приоткрыл дверь — щелочку, чтобы одним глазком взглянуть, присел на корточки и застыл, внимательно наблюдая, что делалось за столом. Потом прикрыл дверь. На четвереньках выбрался на крыльцо, поднялся и, быстро скатившись по ступеням, пошел к калитке, не обращая внимания на бабу Наташу.

— Эй, Алешенька, Алешка, куда помчался, а? — недовольно окликнула баба Наташа.— Что молчишь-то, как в рот воды набрал? Что мужики делают? Я для чего посыпала тебя? Ну-ка, рассказывай..

— Чего-чего...— буркнул Алешка.— Плачут они.

— Как — плачут? — с недоумением взглянула баба Наташа.— Подожди, куда побежал?

— Как-как... Глазами плачут! — опять буркнул Алешка, захлопывая за собой калитку.— Все сидят, разнылись, словно девчонки. Даже дедка глаза трет и сморкается. Фу, глядеть противно! Вот только мой папка не плачет. Уставился на дядю Матвея, а сам молчит,— сказал и скрылся за калиткой.

Поправив платок, баба Наташа потопталаась, поглядывая на окна, потом перекрестилась и исчезла в сенях. Приоткрыла дверь, долго смотрела на деда, на сыновей, которые сидели за столом. Облако дыма повисло над ними. Накурили, хоть топор вешай. Наконец-то, решившись, она зашла, сделала маленький шагок и остановилась, поглядывая на старика. Дыхание перехватило, когда дед взглянул на нее и нахмурился, хотел было что-то сказать, а может заругать, но не стал, а лишь махнул рукой. И баба Наташа торопливо перекрестилась, облегченно вздохнула и медленно вышла на улицу.

Прислонившись к косяку, она неспешно обвела всех взглядом. Поправила платок. Посмотрела на гостью, что приехала с сыном, с Матвейкой, потом взглянула на соседей, которые продолжали толпиться за забором, и улыбнулась, прикрывая беззубый рот ладошкой.

— Все, бабоньки, радуйтесь! Мой дед принял Матвейку,— крикнула она и, махнув рукой, заторопилась обратно в избу.— Дочки, пора столы накрывать. Гулять будем. Наш сынок и ваш брат вернулся. Радость-то, какая! Эй, ребятишки,— она приостановилась на пороге, подзываая внуков.— Ну-ка, быстро сбегайте по соседям и всех зовите в гости. Всех! — сказала и скрылась в избе.

И загудела небольшая деревушка. Прихорашивались бабы, вытаскивая наряды. Мужики степенно заходили во двор и закуривали, прислонившись к забору, и заводили долгие разговоры ни о чем. А потом, когда баба Наташа и дочери накрыли большущий стол, расставляя разнокалиберные тарелки, чашки, миски, где лежала картошка в мундирах, квашеная капуста, огурцы и помидоры, горки жареной рыбы, вяленая лежала, пожелтевшее сало мелкими кусочками было нарезано — его доставали только на праздник, и отдельно подали свежатину — и всех пригласили за стол. Гости чинно расселись, дожидались, когда дед Илья первым возьмет ложку, а потом уж остальные за ним. Раньше нельзя. Не дай Бог, если опередишь его и сунешься в чашку, сразу ложкой влепит по лбу, а то и выгнать может из-за стола. Хозяин! Сидели, поглядывая на стол, на деда, который был во главе стола и, заметив, что он взял ложку, положил небольшой кусочек в чашку и взял рюмку, гости неторопливо потянулись к свежатине. Не каждый день увидишь мясо в деревне, особенно в летнее время. Подняли рюмки, стаканы, кружки и выпили. Закряхтели, закашлялись. Крепка самогонка, крепка! Опять выпили, и снова налили и выпили. И зашумели, заговорили вразнобой, поздравляя деда и бабку, поздравляя всех, что вернулся сын и брат. И так несколько раз — много раз. Курили на улице, возвращались и снова усаживались за столы. Вели долгие разговоры, плакали, вспоминая войну, иногда исподтишка недобро посматривали в сторону Матвея, но отвлекались, а потом пели песни, протяжные, грустные и веселые, и еще плясали. Так плясали, что пыль столбом, что мебельшка тряслась. Снова садились, чтобы поднять стаканы и кружки. И так гуляли до глубокого вечера, пока не стемнело на улице, отмечая приезд долгожданного сына.

А вечером, когда гости разошлись по домам, Семен вышел на крыльцо, присел на ступеньку и молчал, задумавшись, закуривая одну за другой папироски. Молчал и думал. Рядом, прислонившись к перилам, на крылечке сидел Матвей и тоже молчал. Изредка вздрагивал, внимательно прислушивался, если где-то раздавался лай собак или всполошено, спросонья орал петух, закуривал папироску, торопливо курил в руках, быстро тушил и опять застывал, слушая ночь.

— Справная бабенка,— буркнул Семен.

— Да, неплохая,— помедлив, сказал Матвей.

— Где познакомился?

— На поселение отправили, там работала,— прикурив, сказал Матвей.— Сошлились. Так и живем. Уже двое ребятишек. А у тебя сколько?

— Семеро по лавкам.

— Ты в деда пошел,— сказал Матвей.

— Да, и характер такой же, как люди говорят,— Семен опять закурил.— Что решил, навсегда приехал, или как?

— Не знаю,— пожал плечами брат.— Как народ примет.

— Уезжай,— сказал Семен, поплевав на окурок, и сунул в баночку.

— Почему? — опять помедлив, сказал Матвей.— Я отсидел свое. Искупил вину, какой не было.

— Уезжай,— опять повторил Семен.— Так будет лучше и для тебя, и для отца с матерью. Тебя не примут в деревне. Поверь. На своей шкуре испытаешь...

— Я уже испытал,— перебивая, повысил голос Матвей.— Такого насмотрелся, другим не пожелаю.

— Мы тоже не за печкой прятались,— звякнули награды на груди, Семен достал мятую папироску и закурил.— Тоже пришлось повидать и испытать вот так,— и он ребром ладони провел по горлу.— До сих пор воюем по ночам.

— Да я...

— Вот поэтому уезжай,— перебивая брата, буркнул Семен.— Недельку пожи-
вешь. Пусть мать с батей успокоятся, а потом соберешься и уедешь. Здесь не будет
житъя.

— Как батя с мамкой?

— Тяжело было,— покосившись, сказал Семен.— Батю подчистую списали по-
сле ранения. Приехал, кожа да кости. Мать радовалась, что живой вернулся, а ночами
плакала. Сама болеет, и его выхаживала. И соседи проходу не давали, когда слух
прошел, что ты в пленау всю войну пробыл, а потом еще в лагеря отправили. В глаза
одно говорили, а за спиной шептали — предатель.

— Но я же...— возмутился было Матвей.

— А ты хотел, чтобы тебя с распластертыми объятьями встречали, да? — не вы-
держал, психанул Семен и ударил крепким кулаком по ступеньке.— А ты заслужил?
Люди устали от войны, от смертей, от похоронок. Сам знаешь, что в деревне разго-
вор будет короток. В пленау был? Был! Работал на фашистов? Да, работал! Значит,
предатель! Получил лагеря? Да, получил. А потом еще срок добавили и на поселение
отправили. А почему? Значит, в чем-то была твоя вина, о которой не хочешь расска-
зывать. Вот и пораскинуть умом, что должны про тебя говорить люди, что должны
думать мы — твои братья и сестры, как пережили это родители и как в дальнейшем
переживут. А вот ты не задумывался над этим, нет. Прикатил, и грудь колесом. Ишь,
кум королю, сват министру! Сам же видел, какую встречу на крыльце приготовили.
Это еще цветочки увидел. А мог бы на лютники полюбоваться. Радуйся, что отлуп не
дали, что сразу взашей не выгнали, а сначала решили поговорить. Посмотреть, что у
тебя на душе. А тебя пожалели мужики. Да. Из-за бати и матери пожалели, а не будь
их, сразу бы салазки завернули. Почти все мужики из деревни прошли войну, многие
не вернулись, почти в каждом дворе похоронки, а то и две, даже по три есть, а неко-
торые вообще остались без кормильцев, и ты должен понять, как к тебе будут отно-
ситься, что с тобой будет, если останешься,— Семен выбросил окурок.— В общем,
поживи несколько дней, побудь с батей и матерью, пусть порадуются, а потом заби-
рай свою бабенку и уезжай отсюда. Новую жизнь начинай в другом месте. А здесь, в
деревне, не тревожьте людей, не злите. Иначе будет беда. Большая беда.

И развернувшись, Семен зашел в дом и захлопнул дверь.

Матвей долго сидел, курил папироски одну за другой, о чем-то думал, а потом
застонал: тяжело, протяжно и безвыходно.